

**АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ГЕРЦЕН:
«Процесс обновления неразрывно идет с процессом гниения, и
который возьмет верх — неизвестно...»**

Предисловие

В свое время большевистские пропагандисты немало преуспели в том, чтобы записать русское свободомыслие XIX века в собственную, коммунистическую родословную. Декабристы, Герцен, демократическое разночинство — все это, оказывается, было лишь необходимым прологом к появлению ленинского, а затем сталинского большевизма. Следует признать, что это было неглупо задумано и с усердием реализовано. Последствия подобной фальсификации ощущаются и сегодня: многие, относящие себя к либералам, к примеру, до сих пор с некоторым подозрением относятся к Герцену, смутно припоминая (вероятно, из школьного курса) его критичный взгляд на современную ему Европу, а также приверженность некоей «русской общинности». Пора, наконец, признать, что *политическая* реабилитация жертв большевизма, при всей своей непоследовательности и неполноте, все же значительно опередила у нас процесс *интеллектуальной* реабилитации тех, чьи убеждения, вера, борьба были противоправно искажены коммунистическим агитпропом и встроены в контекст чуждой большевистской традиции. И одним из первых в ряду тех, кто нуждается в подобной реабилитации, стоит Александр Иванович Герцен — выдающийся мыслитель, политик и публицист.

А.И.Герцен родился 6 апреля 1812 г. в Москве. Он был внебрачным сыном богатого помещика Ивана Александровича Яковлева и немки Луизы Гааг, которую отец Герцена, возвращаясь после многолетнего путешествия по Европе, взял с собою в Москву. В 1833 г. Александр Герцен окончил Московский университет со степенью кандидата и серебряной медалью. В следующем году за участие в молодеж-

ных кружках был арестован; девять месяцев провел в тюрьме, после чего, по его воспоминаниям, «нам прочли, как дурную шутку, приговор к смерти, а затем объявили, что, движимый столь характерной для него, непозволительной добротой, император повелел применить к нам лишь меру исправительную, в форме ссылки...».

Ссылку Герцен отбывал в Перми, Вятке, Владимире и Новгороде. В 1842—1847 г. жил в Москве, где занимался литературной деятельностью. С 1847 г. — в эмиграции. Скончался А.И.Герцен в Париже от пневмонии 21 января 1870 г., не дожив до пятидесяти восьми лет. Похоронен в Ницце, рядом с рано умершей женой Н.А.Захарьиной.

Европа или не-Европа?

Еще в ранней работе «Двадцать осьмое января» (1833) молодой Герцен задавался ключевым для цивилизационной идентификации России вопросом: «Принадлежат ли славяне к Европе?» и недвусмысленно отвечал: «Нам кажется, что принадлежат, ибо они на нее имеют равное право со всеми племенами, приходившими окончить насильственной смертью дряхлый Рим и терзать в агонии находившуюся Византию; ибо они связаны с нею ее мощной связью — христианством; ибо они распространились в ней от Азии до Скандинавии и Венеции...».

Но далее с необходимостью вставал другой вопрос: если существует славяно-европейское генетическое родство, откуда так велико и разительно различие между наличной Россией и Европой? В той же работе 1833 г. Герцен развивает мысль о том, что дело — в существенном отставании во времени, обусловленном не только неблагоприятными факторами развития России, но и чрезвычайно благоприятными факторами развития Европы. Среди последних Герцен, находившийся тогда под влиянием классической немецкой диалектики, особо выделял то обстоятельство, что, в отличие от России, развитие Европы протекало в условиях столкновения многообразных противоречий, которые и «высекали искры прогресса»: «Доселе развитие Европы была непрерывная борьба варваров с Римом, пап с императорами, победителей с побежденными, феодалов с народом, царей с феодалами, с коммунарами, с народами, наконец, собственников с неимущими. Но человечество и должно находиться в борьбе, доколе оно не разовьется, не будет жить полною жизнью, не взойдет в фазу человеческую, в фазу гармонии, или должно почтить в самом себе как мистический Восток. В этой борьбе родилось среднее состояние, вы-

ражающее начало слития противоположных начал, — просвещение, европеизм...». Итак, только в борьбе противоречий и складывается прогресс, просвещение, европеизм, развитая цивилизация.

Двойственность России, таким образом, состояла в том, что, будучи по происхождению частью европейской цивилизации, она, лишенная исторического динамизма, «сложившаяся туго и поздно», не развилась в Европу. В силу особенностей своего географического положения («огромное растяжение по земле») и истории Россия была более склонна к «восточному созерцательному мистицизму» и «азиатской стоячести»: «В удельной системе не было ни оппозиции общин, ни оппозиции владельцев государю... Двухвековое иго татар способствовало России сплавить в одно целое, но снова не произвело оппозиции. Основалось самодержавие — а оппозиции все не было...».

Эту же мысль об односторонности и дефицитности продуктивного противоречия в русской жизни Герцен впоследствии разовьет в работе «О развитии революционных идей в России» (1851): «В славянском характере есть что-то женственное; этой умной, крепкой расе, богато одаренной разнообразными способностями, не хватает инициативы и энергии. Славянской натуре как будто недостает чего-то, чтобы самой пробудиться, она как бы ждет толчка извне...».

Петр Великий — «варвар-просветитель»

Именно здесь находил молодой Герцен разгадку того мощного цивилизационного импульса, который был задан российскому обществу преобразованиями Петра Великого — человека «с наружностью и духом полуварвара», но «гениального и незыблемого в великом намерении приобщить к человеческому развитию страну свою». Гений Петра, по Герцену, заключался именно в том, что он впервые *породил в России оппозицию* — ...в своем собственном лице: «Явился Петр! Стал в оппозицию с народом, выразил собою Европу, задал себе задачу перенести европеизм в Россию и на разрешение ее посвятил жизнь».

Беспорная заслуга Петра Великого, согласно Герцену, состояла в честном осознании бесперспективности косной московской Руси, в понимании необходимости ее «очеловеченья»: «В этом невежественном, тупом и равнодушном обществе не чувствовалось ничего человеческого. Необходимо было выйти из этого состояния или же сгнить, не достигнув зрелости...».

Принято считать, что Герцен долгое время был в России одним из лидеров «западнической партии». Но, как представляется, изначальный выбор в пользу «западничества» был для него не столько рычагом односторонней и тотальной победы над «самобытниками», сколько способом наиболее результативного решения проблемы продуктивного синтеза в России «новации» и «традиции». Ведь не зря Герцен неоднократно подчеркивал двуединство комплекса «западничество-славянофильство» и то глубинно-общее, что объединяло «друзей-недрузей»: «Головы смотрели в разные стороны — сердце билось одно...».

По всей видимости, раннего Герцена не устраивала в «славянофильстве» вовсе не защита «традиции» как таковой, а неконструктивность упора на реанимацию порушенной и к тому же мифологизированной традиции, неспособность славянофилов продуктивно разрешить потенциально живительное противоречие «традиция-новация». Западник Герцен и сам не утаивал свою основную претензию к славянофильству: он видел в нем скорее «инстинкт» и «оскорбленное народное чувство», нежели полноценное «учение», и уж тем более «теорию». Поэтому и «западничество» для Герцена имело смысл не столько как партия, добивающаяся одностороннего выигрыша, но как более осмысленный (т.е. рациональный), чем у славянофилов, путь к достижению продуктивной интегральной формулы в конфликте традиции и новации. Ведь изначальная посылка русских западников, по мнению Герцена, исторически бесспорна: «Кнут, батоги, плети являются гораздо прежде шпицрутенов и фухтелей». А потому более осмысленна и плодотворна и конечная цель «европейцев»: «Европейцы... не хотели менять ошейник немецкого рабства на православно-славянский, они хотели освободиться от всех возможных ошейников».

Поэтому уже у молодого Герцена резко вычерчивается и критическая по отношению к Петру-реформатору линия: петровская практика «варварской борьбы против варварства» не в состоянии была обеспечить искомой «человеческой вольности». Насильственное озападничество, европеизация «из-под кнута» ведет, по Герцену, не к свободе, а к утрате последних остатков русской свободы: «Гнет, не опирающийся на прошедшее, революционный и тиранический, опережающий страну, — для того чтоб не давать ей развиваться вольно, а из-под кнута, — европеизм в наружности и совершенное отсутствие человечности внутри — таков характер современный, идущий от Петра».

Отсюда вывод: насильственное насаждение на Руси Европы не привело к европейскому результату — свободе личности. Как ранее «азиатская» безальтернативность давила русского человека, так и ныне

реформаторская «безальтернативность», убившая потенциал живого творческого диалога нового со старым, также парализовала становление российской личности.

О вырождении петровского наследства

Но если Петр все-таки затеял с Россией сложнейший культурный эксперимент с определенными шансами на выигрыш, то его менее талантливые и творческие преемники быстро растранили петровское наследство. Вместо насилия во имя все-таки просвещения от петровского замысла осталось голое, бессмысленное насилие. В работе «Молодая и старая Россия» (1862) Герцен констатирует окончательное вырождение послепетровской государственности — не только в годы «николаевщины», но и «александровских метаний»: «В Петербурге террор, самый опасный и бессмысленный из всех, террор оторопелой трусости, террор не лвиный, а телячий... Неурядица в России и лихорадочное волнение идет оттого, что правительство хватается за все и ничего не выполняет, что оно дразнит все святые стремления человека и не удовлетворяет ни одному, что оно будит — и бьет по голове проснувшихся».

Вопреки распространенному мнению о том, что Россия — страна по природе своей предельно консервативная, Герцен был одним из первых, кто заметил, что беда России, напротив, в практическом *отсутствии культурного консерватизма* в точном смысле слова. «Нельзя говорить серьезно о консерватизме в России, — писал он. — Мы можем стоять, не трогаясь с места, подобно святому столпнику, или же пятиться назад подобно раку, но мы не можем быть консерваторами, ибо нам нечего хранить». Сама российская государственность предстает у Герцена не оплотом традиции, а разнородным и полным противоречий «разностильным зданием» — «без архитектуры, без единства, без корней, без принципов»: «Смесь реакции и революции, готовая и прoderжаться долго и на завтра же превратиться в развалины».

Путь в Европу: искушения и ловушки

Нестандартность мышления Герцена состояла в том, что он — безусловный европеист по культуре — не страшился указывать на издержки и опасные следствия принудительной и потому поверхностной европеизации России.

Отход Герцена от прямолинейного западничества не означал перехода в славянофильский лагерь. В отличие от славянофилов Герцен до конца остался резким критиком допетровской Руси. Главным критерием его оценок оставался все тот же — наличие в обществе «свободы лица». «У нас лицо всегда было подавлено, поглощено, не стремилось даже выступить», — писал Герцен в работе «С того берега» (1849). — Свободное слово у нас всегда считалось за дерзость, самобытность — за крамолу; человек пропадал в государстве, распускался в общине». Еще энергичнее описал Герцен косность древней Московии в работе «О развитии революционных идей в России» (1850): «Нельзя не отступить в ужасе перед этой удушливой общественной атмосферой, перед картиной этих нравов, являвшихся лишь безвкусной пародией на нравы Восточной империи».

Но и петровское насаждение сверху европейских порядков не привело в России к существенному расширению личностной свободы: «Все, что можно было переписать из шведских и немецких законодательств, все, что можно было перенести из муниципально-свободной Голландии в страну общинно-самодержавную, все было перенесено; но неписанное, нравственно обуздывающее власть, *инстинктуальное* признание прав лица, прав мысли, истины не могло перейти и не перешло». Герцен формулирует знаменитый парадокс, который потом очень часто использовался русскими антизападниками, но который свидетельствует лишь о последовательном либерализме Герцена, ставящего «человечность» выше формальной принадлежности к западной партии. «Рабство, — писал Герцен, — у нас увеличилось с образованием; государство росло, улучшалось, но лицо не выигрывало; напротив, чем сильнее становилось государство, тем слабее лицо». Человеческая личность в России, согласно Герцену, оказалась стиснутой двумя формами несвободы — принудительной азиатчиной старой Московии и принудительным же европеизмом послепетровской России: «Кнутом и татарами нас держали в невежестве, топором и немцами нас просвещали, и в обоих случаях рвали нам ноздри и клеймили железом».

В какой Европе разочаровался Герцен?

В огромной литературе о Герцене ключевым моментом эволюции его политических взглядов неизменно считается *«разочарование в Европе»*. Что же так неприятно поразило при встрече с реальной Европой западника Герцена? В работе «Концы и начала» (1862) он

сам написал об этом, и его умонастроение выдает в нем несомненно-го либерала: «Я с ужасом, смешанным с отвращением, смотрел на беспрестаннодвигающуюся, кишашую толпу, предчувствуя, как она у меня отнимет полместа в театре, в дилижансе, как она бросится зверем в вагоны, как нагреет и насытит собою воздух... Люди, как товар, становились чем-то гуртовым, оптовым, дюжинным, дешевле, плоше врозь, но многочисленнее и сильнее в массе. Индивидуальности терялись, как брызги водопада, в общем потоке». По существу Герцен уловил первые дуновения *грядущих тоталитарных форм* общества, возросших там, где европейские принципы свободы утрачивали свой иммунитет перед натиском «массового общества». Его размышления, кстати, были созвучны опасениям самих европейских либералов, например, современника Герцена — Джона Стюарта Милля. В своем знаменитом эссе «О свободе» Милль приходит к выводу о том, что в развитии каждого европейского народа, похоже, «есть предел, после которого он останавливается и делается Китаем». Культурное упрощение Европы, жизнь, заполненная не творческими стремлениями, а «пустыми интересами», приводит, согласно и Миллю, и Герцену, к «*новой китайщине*». Мещанская цивилизация, утрачивая былой импульс к развитию, может привести к полному стиранию человеческого лица, к всеобщей нивелировке, наподобие старой «азиатчины».

По сути дела Герцен стал одним из первых европейских мыслителей, кто, задолго до Х.Ортеги-и-Гассета, Э.Фромма и Х.Арендт, подверг критике те явления, которые позднее были названы «*бегством от свободы*» и торжество которых породило в конечном счете европейские формы авторитаризма и тоталитаризма. Оказалось, быть европеистом — это не означает безудержно восхвалять «любую Европу». Ответственный европеизм — это в большой степени критика наличной Европы с позиций фундаментальных культурных первооснов Европы и в первую очередь — с позиции принципов «свободы лица» и личного достоинства.

Сам Герцен отлично понимал, что его постепенно накапливающееся критическое отношение к Западу может сыграть на руку противникам русского европеизма, но интеллектуальная честность была для него превыше всего: «Я знаю, что мое воззрение на Европу встретит у нас дурной прием. Мы, для утешения себя, хотим другой Европы и верим в нее так, как христиане верят в рай. Разрушать мечты вообще дело неприятное, но меня заставляет какая-то внутренняя сила, которой я не могу победить, высказывать истину — даже в тех случаях, когда она мне вредна». Герцен, однако, до конца жизни продолжал ценить Европу именно за это — за возможность *свободно вы-*

сказывать истину. Еще в начале эмиграции, в 1849 г., он писал друзьям о том, почему сознательно выбирает Европу: «Не радость, не раскаяние, не отдых, ни даже личную безопасность нашел я здесь... Остаюсь затем, что борьба — *здесь*, что несмотря на кровь и слезы, здесь разрешаются общественные вопросы, что здесь страдания болезненны, жгучи, но *гласны*, борьба открытая, никто не прячется... За эту открытую борьбу, за эту речь, за эту гласность — я остаюсь здесь...». И далее Герцен формулирует принцип, который он пронес через всю жизнь и который позволяет говорить о его несомненной приверженности либеральной идее: «Свобода лица — величайшее дело; на ней и только на ней может вырасти действительная воля народа. В себе самом человек должен уважать свою свободу и чтить ее не менее, как в ближнем, как в целом народе».

Между либерализмом и демократией

Герцен принципиальным образом различал «демократию» и «мещанство». Известные претензии Герцена — либерала и демократа одновременно — к либералам-охранителям сводились к тому, что те оказались не готовы к демократизации своих либеральных убеждений и фактически потакали «омещаниванию» и «новой китайской стоячести». Да, полагал Герцен, были времена, когда претензию на свободу личности высказывало лишь образованное меньшинство, и либеральный аристократизм был тогда естествен и оправдан: «Я не моралист и не sentimentalный человек; мне кажется, если меньшинству было действительно хорошо и привольно, если большинство молчало, то эта форма жизни в прошедшем оправдана. Я не жалею о двадцати поколениях немцев, потраченных на то, чтобы сделать возможным Гёте, и радуюсь, что псковский оброк дал возможность воспитать Пушкина». Но защитники привилегий узкого меньшинства (в том числе и на свободу) оказались в тупике и смятении, когда на авансцену истории явился — «не в книгах, не в парламентской болтовне, не в филантропических разглагольствованиях, а на самом деле» — «работник с черными руками, голодный и едва одетый рублищем. Этот «несчастный, обделенный брат», о котором столько говорили, которого так жалели, спросил, наконец, где же *его* доля во всех благах, в чем *его* свобода, *его* равенство, *его* братство...».

Герцен, не оставляя своих либеральных убеждений (их основа, по-прежнему, — «свобода лица»), был готов принять этот вызов демократизма — его идеалом общественного служения всегда были «политические Дон-Кихоты» типа Дж.Гарibaldi и Дж.Мадзини.

Между тем русские оппоненты Герцена — либералы-государственники К.Д.Кавелин, Б.Н.Чичерин и др. — предпочли охранение элитарных свобод, теперь уже не только от самовластья верхов, но и от посягательств проснувшихся низов. Результат этого спора внутри либерального лагеря известен — в России не удалось удержать ни демократии, ни либерализма.

Социализм против «азиатчины»

Социализм Герцена, как он его понимал, — это способ сбережения «свободы лица», форма защиты цивилизации от наступления «новой китайщины». Очень характерно, что во многих работах Герцен ставит «русский социализм» в один ряд с «американской моделью». Он неоднократно высказывает мысль, что для своего спасения европейская цивилизация должна получить новый импульс со стороны молодых, свежих наций: «Мы ничего не пророчим; но мы не думаем также, что судьбы человека пригвождены к Западной Европе. Если Европе не удастся подняться путем общественного преобразования, то преобразуются иные страны; есть среди них и такие, которые уже готовы к этому движению, другие к нему готовятся». Для Герцена было несомненно, что одна из этих молодых наций, которой принадлежит будущее, — это Северо-Американские Штаты; другой, возможно, станет Россия — «полная сил, но вместе и дикости».

Итак, разочаровавшийся в современной ему Европе, Герцен все не отказывается от принципов «свободы лица», как хотели представить дело его антизападнические, в том числе большевистские, интерпретаторы. Герцен оказывается вовлечен в общеевропейский кризис жизни и сознания, и он, вместе с западными мыслителями, настойчиво ищет пути выхода, ибо, по его глубокому убеждению, исход борьбы «старого европеизма» и «новой китайщины» еще вовсе не предreshен. Спасти личностное начало или окончательно утратить его — процесс вероятностный, и Герцен неоднократно подчеркивает, что все зависит от способности свободных личностей противостоять давлению среды и принудительной нивелировке. Позднее выдающийся русский либеральный мыслитель П.И.Новгородцев особо подчеркивал это достоинство мысли Герцена — приоритет *открытости и вероятности истории* перед верой в заранее сконструированный общественный идеал. Действительно, Герцен так оценивал состояние и политические перспективы Европы: «Эпоха *линянья*, в которой мы застали западный мир, самая трудная; новая шкура едва показы-

вается, а старая окостенела, как у носорога, — там трещина, тут трещина... Это положение между двух шкур необычайно тяжело. Все сильное страдает, все слабое, выбивавшееся на поверхность, портится; процесс обновления неразрывно идет с процессом гниения, и который возьмет верх — неизвестно...». Будучи внимательнейшим аналитиком европейской жизни, Герцен ставил вопрос предельно конкретно: «Вопрос действительно важный, до которого Милль не коснулся, вот в чем: существуют ли всходы новой силы, которые могли бы обновить старую кровь?.. А этот вопрос сводится на то, потерпит ли народ, чтоб его окончательно употребили для удобрения почвы новому Китаю и новой Персии... Вопрос этот разрешат события — теоретически его не разрешишь. Если народ сломится, новый Китай и новая Персия неминуемы».

Боль за русского человека

Размышления о судьбе Европы всегда являлись для Герцена выражением боли за те «колоссальные уродства», которым подвергается человеческая личность в России. В работе «С того берега» (1849) эти мотивы звучат особенно отчетливо. Слова Герцена, написанные им полтора века назад, впрочем, абсолютно применимы и по отношению к русскому двадцатому веку, да и к сегодняшним дням — в немалой степени: «Мы выросли под террором, под черными крыльями тайной полиции, в ее когтях; мы изуродовались под безнадежным гнетом и уцелели кой-как... Томимые желанием знать, мы подслушиваем у дверей, стараемся разглядеть в щель... Мудрено ли после этого, что мы не умеем уладить ни внутреннего, ни внешнего быта, лишнее требуем, лишнее жертвуем, пренебрегаем возможным и негодует за то, что невозможное нами пренебрегает; возмущаемся против естественных условий жизни и покоряемся произвольному вздору...».

В итоге в России, по мысли Герцена, начал доминировать тип *«псевдоевропейцев»* — людей, которых он часто называл «амфибиями» и главными видовыми признаками которых считал неумение ни сохранить русскую традицию, ни усвоить западную цивилизацию. В поздних «Письмах противнику» (1865) Герцен отмечал, что в результате ориентации русского самодержавия на «пруссские образцы», худшие свойства немца приобрели в России гипертрофированное и опасное выражение: «В мещанском мизере немецкой жизни фельдфебельству негде было расправить члены; на русском черноземе благодаря помещичье-